

Григорий Петрович Данилевский

Четыре времени года украинской охоты

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА УКРАИНСКОЙ ОХОТЫ

I. ЗИМА.

Охота на волков «на заседке». — Охотники. — Пономарь. — Охотничья старина. — Легенда о «Лесном голосе». — Оклик зверя. — Охота с облавой. — Куропатки и дрофы. — Стрельба зайцев ночью на гумнах. — Охота на волков с поросёнком.

Зима стояла студёная. Это лучшее время для степной охоты на волков и, в особенности, для так называемой охоты «на заседке» — когда охотники подманивают голодающего зверя на приваду, а сами на ночь заседают с ружьями в какой-нибудь глуши, в старом заводе, в одинокой лесной хатке, или в земляной копанке, и стреляют подошедшего к приваде зверя в окошко, по свету месяца, иногда почти в упор.

В 1860 году на юге России выпал, небывалый в степях, глубокий снег. Сначала, когда он еще не улёгся, разыгралась-было метель пешая, а потомхватила «верховая» и намела стекольчатого, точно хрустального, снега та-

кие вороха, что неожиданно овраги сравнялись, а хутора очутились в ямах, и едущие по улицам увидели крыши хат у своих ног, в ворота же стали въезжать, как через стены крепостных валов. Тут уже зверь всегда разгуливается и становится особенно злобен. Двери овечьих сараев и скотских загонов запираются плотнее. Мелкие дикие зверюшки забиваются в норы поглубже. Поживиться нечем. И так иногда метет суток пять, шесть. Тут волки просто остервеняются. Ворвавшись в одинокий хутор, иногда чуть смеркнется, им нипочем бывает прямо вскочить на ветхую клетушу, прорвать лапами соломенную крышу и в полчаса передушить, до одной стадо овец. В такую пору часто в степях выгоняют волков из теплых сеней, где носится пар от вкусного ужина. И уж это не новость: чуть настанут такие волчьи набеги, только и слышно, что там порвана лошадёнка, там унесен телёнок, там в панском овечьем заводе передушено триста голов мериносов, а там горячкой от перепуга заболели барыня-хуторянка и юнкер, за тройкой которых целый час гналась в степи стая волков и, удерживаемая одним колокольчи-

ком, влетала в самую околицу их хутора...

Едва улеглась метель, я поехал из дому и случайно, в соседней усадьбе старика-помещика, встретился с приятелем моим, пономарем-охотником, Иваном Андреевичем Михайловским, который приехал туда покупать лошадь и кое-какую хлебную провизию в город.

— А что, Иван Андреевич ведь пороша? — начал я, едва увидев приятеля.

— Нет, уж если охотиться на что, так на волчков на заседке-с, а кольми паче я еще и привадку-с тут же положил, и это еще дело дивное-с: приезжаю вчера, купил лошадку-с за три целковых, завалиющую уже вовсе, на шкуру одну; она и пала в ту ночь. Ну, я шкуру-то снял, а мясо и выволлок за кузницу; в нынешнюю ночь будем бить серого...

Почтенный пономарь, в лисьей папахе, в черной барашковой шубе, крытой зеленою нанкой, а под шубой в куртки, переделанной из жениной кофты, был бодр и весел.

— А ружье же с вами есть?

— Есть мой швед! — отвечал пономарь: — не укрых души моя от страсти плотоугодия! С детства постреливал, аки Немврод[1], и ны-

не предан охоте и есмь ловец...

Я уже знал сноровки своего приятеля и, признаюсь, следил за ним и не упустил случая поохотиться с ним на что бы то ни было. Старик-помещик, у которого мы оба съехали с ним, был в параличе, и гости его не стеснялись, занимаясь каждый чем хотел.

Вечера я поджидал неравнодушно. Тихо шмыгнул пономарь в топленую баню, зажег там свечку, убедил меня не звать более никого и стал готовить картечь.

— Бога Господа ради, сидите смирно, да не смейтесь! — толковал он, разрывая хлопки на пыжи и принимаясь в засаленном горшочке, в печи, растапливать свинец на картечи: — тишина первое дело; зверь хитёр и чует по воздуху, где готовится охота!

Скоро щепки загорелись, и горшок стал чахнуть немилосердно. Закоптелые и промасленные картечи скоро улеглись кучею на столе. Мы зарядили ружья, взглянули на часы и вышли из бани в сад. Было половина десятого ночи. Месяц светил ярко, но в воздухе стояла туманно-серебристая мгла. Пройдя по непротоптаным дорожкам сада, мимо обледенев-

ших, точно стеклянных и тихо скрипевших от ветра дерев, мы перешли по льду реку под садом, уже за хутором, и стали взбираться на гору. Я оглянулся. Огни на хуторе погасли. Острый морозный ветер изредка обхватывал в тиски уши, нос и щеки. Собаки молчали, видно тоже пораньше забившись в теплые углы дворов. Мы еще прошли по горе и опять склонились к стороне хутора. Пономарь шел впереди, держа своего шведа на руке, на-перевес. На снегу отражалась его шагающая тень, с поджарыми ножками, утлою бородкой и с торчавшею из-под шапки косичкой...

— А вот и кузница, тут мы засядем на за-седку! — сказал он, остановившись на косо-горе, у какой-то отдушины.

Я огляделся. Перед моим носом обрисова-лась низенькая, вся заметенная землянка ху-торянской кузницы, с крошечною дверкой, трубой и окошечком. Окошечко было в поле, к стороне близко чернеющего леса. Вся поля-на в лесу белела и отливалась блестками. Ни-же, у ног, и далее к холмам, за рекой, будто висел туман и стояла свинцовая, непрогляд-ная тьма.

— Полезайте! — шепнул мне пономарь.

Я нагнулся и вошел в дверку.

— Ну, теперь можно зажечь огарочек! Еще рано!

Пономарь зажег свечку и поставил в печь. Я осмотрел землянку. На полу уже лежала припасенная солома. Окошечко было завешано тряпицей. Все щели и дырки в стенах были также тщательно заткнуты соломой.

— Серый чует за версту и вблизи узрит даже в такую щелку, что и булавки не продеть! — говорил пономарь: — ну, коли есть тоже хотите, закусывайте, ваше благородие, — сказал он, уставив ружья у наковальни: — а там уже, как окликну их, то лежите смирно; запахов нельзя пускать, — разве только пошушукаем о чем, от скуки, с собою...

Я вынул хлеб и сыр и предложил товарищу.

— А который час?

— Одиннадцатый...

— Еще рано. Скажите, как будет двенадцатый. Им самая пора — глухая полночь.

— Где же у вас тут падаль, ваша лошадевка?

Пономарь поднял тряпицу тихо и бережно, запустил в отверстие сперва один глаз, а потом другой, посмотрел и вдруг схватил себя руками за голову.

— Что вы?!

— Ай-ай-ай! Глянете...

Я посмотрел в окошечко из-за его бороды. Что-то черненькое и крошечное, как мышь, быстрыми лапками бежало по снегу от падали и, будто слыша что-то, останавливалось и спускалось в овраг к реке.

— Что это, мышь, или ласочка? — спросил я.

— Какая тут мышь! — прошипел от досады пономарь, все еще держась за озадаченную голову и приседая к земле: — это лисовин[2], да еще матерый, — здоровенная лисица...

— Что же она?

— Как что? А, не люблю я расспросов! Нюхнула, значит, привадку, да и наш след нюхнула, ну и драла... Значит, сыта, расподлющая душа! А то бы я бухнул с почину-то! А каковы малы лисички-то кажутся по ночам? Оно и правда теперь — сущее мышатко...

Мы сели. Свечка в печи едва мерцала, при-

крытая, для большей осторожности, кувшином с пробитым дном. Ветер не стихал, а еще будто его разбирало, и по временам перекапывал поверх кузницы те же полосы стеклячатой, точно составленной из битого хрусталя, снеговой блуждающей пыли...

— А что, Иван Андреевич курить еще можно?

— Вот опять и курить! Ну, где же это слышано? Нет, в старину не такие бывали охотники!

— Какие же, расскажите...

— Вам все расскажи! Разумеется, что не такие. Вот ваш лес: что он теперь? Так, плёвое дело! Иному и зайцу в нем уж негде спрятаться. А у вашего дедушки там дикие козы травились; забегали, значит, говорят, из черниговских боров; олений зверинец был там у вашего дедушки, голов по полсотни, да волки выдушили. Одних собак у него было двести борзых, да сто гончих; борзых от Архарова[3] из Москвы купил... Я застал еще его доезжачего — Комаром звали. Говорит, по тысяче за собаку платили; везли, говорит, два месяца из столицы, караваном, на конных и воловьих

подводах. На каждой подводе, на кибитке, лосьи рога красуются привязаны, На ловчих желтые и зеленые курточки; рога за плечами. Отъедут двадцать пять верст, и привал. Это сейчас котлы на треножцы; валят туда целых баранов, пшена да муки. Костры горят; водку пьют, в трубы трубят; песни играют... Чудеса! А теперь? Так как-то живут, больше все в карты продуваются... Нет, прежде не так и здоровьем хворали. Такие помещики барбосы были, что на поди. Как отхватает иной верхом с борзыми дней десять, пятнадцать сразу, в отъезжих полях, или пешочком по десяти, пятнадцати верст в день, так больных тех и в помине не было... А теперь, опять-таки скажу: сам сидит, а на охоту за себя других посылает... Я у одного такого пять лет при церкви был! Да что, тоска взяла, глядячи на эту мертвечину, а еще из богатых был, землю на аренде держал под Ростовом...

— Вы, Иван Андреевичу как будто псовую охоту предпочитаете ружейной?

— Я?! Сохрани Бог! Псовая хороша мне только со стороны глянуть, да и не всякому по средствам. Что нынешние собаки? Дрянь!

Здесь гончие в старину-то были, так уж непременно либо агары[4], либо параты[5]; лисицу и волка сами, без борзых, травили в угон; а коли борзые, так псовые, вон такие, с волка величиной от земли, и с гривками такими, шельмы, точно лвята; на перемычке, зверю и дохнуть, бывало, не дадут. Вот то и охота была, а теперь все, поджарые крымки, да степные[6]! Нет, не променяю я ружья на псовую охоту! Эх, весна, весна, сударь, да мокренькая осень. Скоро ли вы воротитесь? Вы, сударь, не поверите, как за живое берет, чуть повеет весенним-то ветерком... Слышите, как студёная позёмка-то теперь разбирает над нашими головами? А весенним теплым деньком? Крест положил на себя, взял краюшку хлеба, да ружье, и гайда по лузям[7], да но болотам! Пришел, сел под овражком. у опушки леса, положил ружье наземь, и стрелять не хочется — все глядишь... Козявочки там ползают, тмином долевым, да чабрецом пахнет, а тут мотыльки, бабочки такие большущие летают, - точно с птичьими крыльями. Бабочка — Пава прозывается и Адамова-голова есть бабочка; тех я особенно люблю. Пава вся голу-

бая, а величиною с ладонь и с сизым, будто шелковым отливом; как взлетит, ну, точно кусок голубого бархата, либо птица сизая мелькает. Адамова-голова еще больше, с голову ребенка, коричневая, а внизу крыльев темные, с белыми ободками, пятна, будто глаза мелькают! как поднимется из-за куста, да станет этак, по мотыльковому обычаю, в воздухе повиснет, ну, вот точно голова стоите и на тебя оттуда посматриваете. А мелкие бабочки? Иная с усиками, другая вся золотая, третья алая, с черными оборочками; иных крохотных стадо налетит, точно зелененькие листочки посыплются с дерева...

Пономарь замолчал. Я свободнее растянулся по соломе. Он сидел, обхватя колени руками. Было еще далеко до полночи.

— Слышал я, — начал он опять: — что мотыльки — это души младенцев, умерших у честных и праведных родителей... Дети грешных так и лежат в могилках, а эти порхают по свету и любят все, что есть на земле, и наряды самые красивые носят. Как лето настанет, они выпорхнут на травы, да на цветы; осень пришла, их уже и нет — попрячутся в

куколки гусениц...

Я поправил свечку в кувшине.

— А слышали вы, что такое Лесной-голос, отклик, или эха, как оно у господ прозывается?

— Нет, не слышал.

— Это я и сам иной раз приду, бывало, в самую трущобу и крикну; оно и аукнется в разных местах, сама себя будто передразнивает. И стал я стариков спрашивать... А один мне; по прозвищу Тарас Нечестный, и говорите: Ауканье — это Лесной-голос. Ты как крикнешь, и пойдет будто волна по лесу; это сила такая, говорит, перекликается. Что будто в самые старые, первоначальные годы, какой-то старый ангел, видя, что сын его, молодой ангел, влюбился в землю и все с облаков лазуревых день-деньской приляжет и смотрит на нее, взял и бросил - его оттуда на наш свет... Говорит: «коли не веришь ты мне, что земля не нашему брату место, лети туда и поживи там, авось одумаешься!» Вот, и упал этот ангел с облаков прямо в рощи зеленые и стал Лесным-голосом... Все ему весело; на что ни глянет, все занимает его. Шалит он с зари до

зари, все перекликает, птицу ли, зверя ли какого, шум листьев, говор вод и шелест ветров всяких. И так он это летал, и жил по земле целые века. Только, сударь мой, взял да напоследок и пригляделся: веточки отражаются в воде, горы глядят, точно опрокинутые, из воды; птица пролетит — и та видна в воде. А он только, значит, голосом одним живет. Сорока крикнет на березке, и он сорокою крикнет; та только оглядывается. Соловей свистнет, и он за ним рассыпается свистами по долинам. Все хорошо — только не видит ни сам себя Лесной-голос, ни его не видно в водах и на тени. Так он маленько было задумался об этом, а потом и позабыл; опять стал порхать по кустам, да по пригоркам, шалить по-старому. Только раз он и налетел, с ветром в перегонку, на холмик... а под холмом, под орешником, спала красавица, как есть, значит, живая душа человеческая, женщина... Раскинула так волосы; руки по локоть нагие открыты, и жарко дышит эта молодая грудь, ждет ветерка свежего. Ветер и давай около нее, заходил-ся обвивать, да ласкать ее, нежить и холить волосочки и всякую складочку ее одежды.

Лесной-голос-то и влюбился в красавицу... Повис над ней, замер на воздухе и ни с места... И ветер давно улетел, и облачко на солнце нашло, заслонило лучи его, и день стал клониться к вечеру, — а Лесной-голос все стоит — висит в воздухе, воззрился в красавицу и не летит далее. Она молчит, и он молчит; молчат листья, птицы присмирели, и ему не откликнуться, нечем, значит, разбудить ее, подать знак о себе. Кинулся он к ней, обнимает, целует ее... а она и не чувствует... И увидел тут Лесной-голос, что у него тела нет, и впервые пожалел о теле... Еще порхал вокруг красавицы, еще полетал над нею. Она встала, любитесь на зорю вечернюю, на лес и на воды... Он и вперед забежит, и сбоку, а его она и не видит... И понял он тут, что не брат он на земле, не земляной жилец, и воскликнул он: «вскую[8] оставил мя, отче ангел небесный? Возьми опять меня на крыле твои, в подоблачные жилища!» «Нет, — провещали ему облака тогда: — нет уже ни твоего отца в небеси, никого из родичей; другие уже заступили их место, - и тысячелетия прошли с тех пор! А тебе, видно, до конца века шататься по зем-

ле» — Тут Лесной-голос, а по вашему эха (значит, ауканье наше), осталось на земле, и летает с той поры везде, незримое, перекликает всякие голоса, тем и забавляется... Только с той поры уже как будто скучно ему все, и в голосе его, сударь, точно что-то печальное есть. Прислушайтесь. Крикните иной раз над рекой, или в лесу, или в пустыньке какой, крик ваш как будто и тот же слышится в перехват, только будто немного тише, печальнее, поглуше... Это ауканье так тоскует, сударь, вспоминая о прежней жизни и об облаках...

Рассказ пономаря был прерван глухим шумом над нашими головами, точно кто пробежал или перебросил что-нибудь через крышу кузницы. Мы привскочили оба на соломе. Пономарь перекрестился.

— Что это, Иван Андреевич?

— Не знаю...

— Не пришел ли кто сюда, или ветер усилился, и вьюга началась?

— Постойте, посмотрю...

Пономарь встал. запахнулся в шубу плотнее и со словами: «О, Господи! Чудны дела твои, Боже!» — вышел на воздух. Пар клубом

ворвался в низенькую дверку. Пономарь долго не входил, а мне, на пригретом месте, особенно лениво и уютно сиделось. Я слышал над кузницей перекаты ветра.

— То вьюга-с как будто курит, поднимается! — сказал пономарь, входя снова:— ну, да опять яснее, и, кажется, стихнет... А который-то час. ваше высокоблагородие?

— Двенадцать...

— Ну, подождем еще маленько, да и к делу.

Он опять сел и взял ружье на колени. Помолчав с минуту, он вздохнул и усмехнулся.

— Скажу вам.— начал он: — что как не завидовать ребятишкам! Вот хоть бы и я. Какую историю вы ни говорите мне, а лучше я не люблю сказок. как детских, про зверюшек всяких. Одни охотники только и знают, по моему, настоящие обычаи всякой зверятины. Знаете вы,— извините, сударь, за такой вопрос.— нашу мужицкую сказку про петуха, про котика и про лисичку?

— Нет, не знаю...

Пономарь опять усмехнулся.

— Вот, пришли в мороз волков бить, а какие речи с вами ведем; даже смешно, право!

— Расскажите пожалуйста!

— Нет, пора уже за дело... — Он вскочил.

— Сидите вы тут, или выходите потихоньку на крышу, а я пойду к лесу; надо прежде зверя окликнуть! — сказал пономарь.

С ружьем в руках пошел он к лесу, странно мелькая на ярко освещенной снежной поляне. Ветер стих, но морозило сильно. В стороне, шагах в тридцати от кузницы, чернела полузаметенная куча привады.

— Вам не страшно? — тихо крикнул я вслед пономарю.

Он молча и с досадой махнул мне рукой.

Я сел на сугробе; внизу, в овраге, извиваясь в потемках, будто белые змеи, ползли полосы навеваемого снега. На горе было ярко и морозно. Миллионы звезд, казалось, пересыпались с места на место, мерцая в морозной тишине... И вдруг я услышал вой, сперва протяжный и тихий, а потом громкий. Вой смолк, отдался в пяти или шести местах в раскатах и опять зазвучал. Я невольно вспомнил о судьбе печального Лесного-голоса. Сначала мне стало жутко. Мне показалось, что это воют волки. Но я тут же вспомнил о сборах по-

пономаря «окликнуть зверя» и успокоился. Это точно кричал он, дразня отдаленных и близких. спящих и бодрствующих, от лютого голода волков. Покричав по-волчьи на одном месте, он видимо переместился на другое, потом будто крикнул в самой глубине леса и опять замолк. Я стал вслушиваться... Ему ничто не вторило; даже собаки на тихом и глухом хуторе молчали. По временам только, по-прежнему, в овраге шелестели какие-то извивы, будто все без умолку там струились белые полосы снега, да река вдруг отдавалась стоном трескавшихся льдов... Вдруг застонет. грохнет ледяная скатерть, и пойдут раскаты между берегов и далёких камышей, как от выстрела... Прошло более часа. Пономарь все перекликался и не возвращался. Мне дремалось. Слышу, пономарь крикнул уже вблизи, и в тот же миг ему отвечали два волчьих воя за версту от него, в другой стороне. Сердце у меня забилося!.. «А, это уже волки!» подумал я. И в ту же минуту у меня над ухом раздалось: «Ну, ваше высокоблагородие, удирайте в землянку; серые тут уже неподалеку...»

Мы снова вползли в кузницу и заперли на

засов двери. Свеча была потушена. Ружья взяты в руки.. Пономарь поднял тряпицу у окошка, и припал лицом к отверстию. Я тоже прислонился к стене и стал из-за его плеча смотреть в окошко. Но, кроме снежной поляны, блеска месяца и темной кучи привады, ничего не было видно. Дремота снова стала одолевать меня. Я прилег опять на солому, прося собеседника сказать мне, когда придут волки.

Долго я лежал. Помню, что впотьмах, от течения воздуха, вздуло уголек в кузнечной печи, где перед вечером работали, и он сверкал, как звездочка. Пономарь стоял, как вкопанный, не шевелясь и почти не дыша. Я заснул. Не помню, что мне виделось во сне. Лесной голос ли, порхающий по свету и влюбляющийся в сонную земную красавицу, мотыльки ли Пава и Адамова-голова, или мой дедушка и бывшие охоты старых времен... Помню одно, что нежданно над моим ухом грянул выстрел, в моих глазах зажегся пожар; я вскочил, будто разорвало у меня череп... Смотрю — пономарь старается, в дыму от своего шведа засветить спичкой свечку в кувшине. Зажег и выскочил из двери. Я очнулся, понял

окружающее меня и тоже выбежал за ним...

Он. простоволосый, со спущенною с плеч шубой и с растрепанной бородой, стоял у привады...

Два огромные волка лежали на снегу, убитые наповал его самоделковою картечью. — «Вот и прибыль, — сказал он. — а ловчился и целился чуть не полчаса... А уж ждал — так чисто всю ночь!»

Я взглянул на небо. Звезды потухли. Вверху носился туман. Дал белела. На востоке занималась заря, шли желтоватые светлые полосы. Не далеко оставалось до утра.

— Два только и было волка? — спросил я пономаря.

— Каких два! восемь... Как пришли, у меня так и потемнело в глазах... Да, бестии прежде всего стояли поодаль, вправо, и как нарочно, будто знали, все посматривали на кузницу, на нас... Ведь смешно, а все думалось: ну, как вместо лошадёнки-то моей палой, да кинутся они на нас! Ведь бывали такие случаи, сударь, что охотник, наш брат, засядет в какой-нибудь хлевушок, бацнет, промахнется, а зверь к нему, да и ну рваться

сквозь плетень — полуживых от страха по утрам выносили...

Зимой в степи еще недавно помещики охотились почти каждое воскресенье, с тенетами и облавами на лисиц, волков и зайцев. Эта охота всем знакома. С утра объездчики, бывало, проследят хоть красного зверя, найдут его логовище, поставят в кустах тенета, с противоположной стороны пустят правильным строем «кричаней», со стрелками по крылам. и облава двинется. Хозяева сами ждут у тенет. И вот. чуть раздадутся, сперва отрывочные и тихие голоса гонцов, уж тут ждите прежде всего лисицу. Она хитра и поднимается первая. Волк лежит крепче. Вы стоите с ружьем в руках; за вашей спиной, саженьях в десяти, тенета; впереди вас чистая площадка, перемычка, огражденная другими кустами, положим, мелкими соснами. Вы смотрите. Белый снег режет глаза. Курить хочется. Нельзя пошевеливаться. Оба курка тяжелого мортимера[9] взведены. Тишина близ вас такая, что слышно, как из-под ног взлетевшей какой-то серенькой птички упал крошечный обломок ветки. Все тихо. Сухие стебельки прошлогод-

ней травы торчат сквозь оледенелый белый снег. Где-то дятел долбит и стучает носом в гнилую кору сосны. И вот затрещала впереди вас сорока, всегда предвестница какого-нибудь гостя в лесу. Испуганная её криком, взлетает, влево от вас, зазимовавшая в степном бору сойка, сверкнув зелено-красно-желтыми, с белыми оторочками, крыльями. В низеньких соснах мелькнуло что-то бурое... Миг, и на поляну, высунув язык и хватая им снег, выбегает запыхавшийся лисовин. Он остановился и слушает, где шумят кричане. Он стал задом, стал боком; пушистый хвост так и горит на снегу. Ружье ваше взято на цель. Ну, как он увидел? Бац... Дым разлетелся, и по обгаренному кровью сугробу взметывается перед вами убитая наповал ценная добыча... Вы опять сторожите. Но уже не выскакивает на вас другая лисица... Кричане ближе. Правое крыло «улюлюкает» — подняли волка. Но и волк пошел не на вас. По нём стучают выстрелы влево. А мимо вас шныряют одни озадаченные зайцы... Но неужели их тоже бить, после вашей «красной, благородной и славной добычи?»

Первая облава кончена. Кричаней угощают. Гонцы закусывают в одной стороне; паны бенкетуют[10] в другой. Шум и крик, смех и анекдоты...

Охота «в наездку» зимой не слишком увлекательна. Это — любимое занятие юношей, новичков первой поры. Садятся верхом. берут по своре борзых к руке, разъезжаются «на дистанцию» в поле, так что друг другу слышен только крик или звук рога, и . пускаются по беспредельной равнине шагом. Едут час, едут два. Иной спустился в овраг. другой на курган наехал. Потом опять все сравнялись и движутся темными точками. Зверя не видно; не поднимается. Только вдали, версты за две, на косогоре, чернеет какая-то подвижная, будто перебегающая точка. Это — лисица, и препорядочная; по следу, должно быть, ласточек [11], либо полевых мышей следит и ловит! День уже темнеет; настали сумерки. Верховые, перезябшие и голодные, спускаются на реку, к деревне. И вдруг крик, все вытянулись, летят — заяц выскочил из камышей, у самых огородов. и пошел в гору... Ловите его...

Зимою же, близ хуторов, в пустынных «ли-

вадах», где сеялись бакши[12] или какие-нибудь хозяйственные зелья, по снегу с утра рассыпается в приманку зерно. Днем ее клюют воробьи, огненные снегири и зяблики; а пройдет ночь — на утро, вокруг приманки, по пороше видны крестики от лапок куропаток... А! надо ставить силки. Воронкообразная, круглая сеть раскинута. Палочка подпирает дверку с западной. От палочки в овраг протянут шнурок. и баранья шапка с усами торчит из оврага. Вот стемнело. Слышно тихое курныканье куропаток, точно наседка сзывает летом в густой траве, в саду, цыплят. Бежит гуськом серенькое стадо. Клюет предательскую, дорожкой кинутую приманку. Дверка захлопнулась — и все в западне...

Перед святками и на святках мальчишки еще охотятся зимой на воробьев. Зажгут фонарь и в темную ночь пойдут в сарай. Перепуганные криком и светом, воробьи думают, что настало утро, что горящий фонарь — щель на светлый воздух, и сотнями, ослепленные, кидаются на крышку и на стекла фонаря, а ребяташки их ловят шапками.

В херсонских степях и на юге Екатерино-

славской[13] губернии зимою зачастую остаются в полях дрофы. Они кормятся травой, не везде, неглубоко покрываемой снегом, и ходят кучами, как овцы, прячась от метелей в лесках и степных лесных балках. На них тогда не охотятся. Но нередко несчастную, изморенную стужей, и обледенелую от инея птицу мальчишки - при этом просто хворостинками загоняют в хутора и убивают.

Есть еще в степях зимой особый род охоты. Это — охота на зайцев ночью, в садах и на хлебных токах. Она составляет обыкновенно невзначай. К вам приехал приятель-сосед. Вы пообедали. Сидите за чаем, млея, как млеют зимою охотники в толках об охоте; всё выболтали друг другу, рассказали, что нового по соседству и в городе; можно ли ожидать с весны урожая; как ссорятся ваш предводитель с губернатором; как такую-то полюбил такой-то, и как у такого-то, другой, такой-то, выиграл порядочный куш... Говорить больше не о чем. Уже и вечер пришел. Свечи догорают. романтический сверчок тоже не забывает о себе подать весть; недалеко и до ужина...

— А что, Ваня, не пойти ли в ток на зай-

цев?

— Пойдем. Петя?

И вот, делаются заряды; вместо опасных хлопков[14], на пыжи идет войлок. Шубы надеты, под сапогами подвязаны полстяные[15] подметки, чтоб не было слышно скрипу по снегу. Вы входите в темный сад, пробираетесь между кустами. Незримые обледенелые витки в потёмках бьют вас по лицу. Вы потихоньку под нос хихикаете и пересмеиваетесь с товарищей. Перешли вишенник, замерзший пруд. Остановились. В десяти шагах от вас что-то шелестит, будто пробирается к забору...

— Петя! — шепчет товарищ.

— Что?

— Стрелять?

— А что?

— Заяц...

— А где же он?

— Вон-вон — как будто чернеет...

— Бей!

Выстрел раздается, и заяц, по непостижимому счастливому случаю, убитый наугад, вскрикивает, как плачущий ребенок, у забора...

Но вы спешите на ток. Уселись под скирдою. Темно, ни зги не видно. Ветер шелестит соломой. Близко сельское кладбище. Морозит. Товарищ ваш сидит далеко. Проходите час. Слышны между скирд какие-то шорохи, беганье; будто кто большой шагает. Вы даже ширину шагов стараетесь угадать. — «Уж не мертвецы ли это?» — спрашиваете вы сами себя, и мороз, подирает вас по коже — «из-за плеч вас берет», — как говорят у нас. И точно — вот будто кто перелез или перескочил в ток через забор из смежного кладбища. Идет или, кажется, несется с ветром... Что-то белое мелькает впотьмах. У вас даже испарина проступает на носу и на затылке... И вдруг из-за небосклона вырезался край месяца. Еще и еще, становится светлее. Золотой шар поднялся над степью. Снег заблистал. Скирды и сугробы выяснились, дорожки обозначились, а по дорожкам, взапуски и вприпрыжку, носятся зайцы. Да какая куча! И откуда они берутся! «Целиться по свету отлично!» — думаете вы, и ошибаетесь. Заяц виден, а прицельной точки на стволе не видно. Но бейте наугад. Одни перепуганные убегут, прибегут

другие. Кормов в поле нет. Выстрелы тукают, и время летит незаметно до рассвета...

Но, признаюсь, ничто так из зимней охоты в степи не манило меня с детства, как охота на волков «с поросёнком», охота живая, увлекательная и вместе небезопасная. Она состоит в том, что кружок стрелков, запасшись добрыми ружьями, садится на лихую, надежную тройку, в пошевни[16]; берут с собой поросёнка, а к саням сзади на веревке привязывают мешок, набитый соломой и обмазанный свиным салом; рыскают в глуши по степи и душат изредка поросёнка. На его крики волки выбегают из оврагов. следят в глазах охотников сани, кидаются за мешком, как кошки, с подходами и увертками, ловят его, а в это время по ним стреляют на всем скаку картечью. Нужны хорошие кони, чтобы иной раз ускользнуть от стаи остервенелых волков, в которой шальной заряд убьет волчицу.

Я помню довольно любопытный случай...

Съехалась какая-то толпа гостей на именины к полковому командиру одного уланского полка, стоявшего в военном поселении. Первый день съезда, как водится, прошел в тан-

цах и разных увеселениях; второй день прошел в картах; третий — тоже. Я не танцую, не играю и не пью, и потому сильно скучал все три дня, попав на именинный съезд случайно, в экипаже товарища-соседа. Вечером третьего дня, увидя переполненную чашу скуки, я предложил запрячь сани и ехать, вместо прогулки, на охоту на волков с поросёнком. Мое предложение было принято. Ружья заряжены, трое пошевней подкатили к крыльцу, в каждые взят поросёнок, сальные мешки подвязаны к задкам саней, и мы, по пяти-шесть стрелков в санях, разъехались в три разные стороны в степи.

Поздно за полночь, по обычаю, с шумом и громом, все сани воротились во двор. Пошли толки, споры. Первые сани ничего не видели и приехали обратно, не выпустив ни одного выстрела. Вторые стреляли по волку, а убитый волк оказался собакой, разлакомившейся под селом на заманчивый сальный мешок. Третьи сани приехали позднее всех... Ехавшие там еще в воротах, при въезде, решили, что затеянное дело — чепуха, что они ничего не увидят, и потому запаслись еще наливка-

ми, которые и осушили. Долго возился и бранился на этих санях какой-то офицер, который никак не хотел садиться в сани с поросёнком, уверяя, что «с свиньями он никогда в жизни не сидел рядом!» Кончалось тем, что, выпив наливки, офицер первый забыл о своих словах, склонился к поросёнку и, будучи под хмельком, захрапел, склоня на него голову... И вдруг, едва выехав за околицу, лошади этой тройки стали фыркать, прошли порывистой беспокойной рысью версты две и подхватили сани вскачь. Ехавшие стрелки вскочили и схватились за ружья. Смотрят: сзади, рядом и забегаая к самым мордам коней, за ними скачет общество в одиннадцать волков.

Что тут делать? Стрелять было опасно; это была, по всей очевидности, «тичка» — то-есть волчья свадьба... Они своротили тройку назад и ну погонять. Сперва бросили из саней поросёнка, и потом давай стрелять холостыми зарядами. Кое-как отогнали волков от лошадей. Но заряды вышли, а волки ближе. Скачут охотники, кричат, все встали, дрожат, держатся, друг за друга, молитвы читают... Куда и хмель делся! И вдруг на ухабе, волк ли рва-

нул пристяжную, она ли задом бросила, только сани закатились; товарищ, не любивший свиней, вылетел — и упал наземь... Сани помчались далее. Смотрят те, волки отстали... «Ну, пропал теперь Засетко! Недаром не хотел ехать — разорвут волки...» — Поехали, потолковали кутилы, обогрелись, воротившись домой, и легли спать. Смотрят, утром на заре Засетко приходите целёшенький из степи...

— Как? ты жив?! Что с тобою было?!

— Да, а вы и рады, бросили меня! Что было? Дивное было! Упал я лицом в снег и лежу — прикинулся неживым. Тут, чую, подбежали волки, нюхают, а не трогают. Один, должно-быть, волчица, завыл, и все завыли, она лизнула, и те стали лизать меня в лицо... Ну, так повыли, полизали, да и ушли...

...Этот случай долго ходил в рассказах околота.

II. ВЕСНА.

Прилет и перелет дичи. — Таинственная страна «Вирий». — Рассказы пономаря. — Ночь в землянке лесничего. — Ночь в лесу, на Донце.

Это было в начале марта, на Донце. Стояла еще холодная погода. Морозы прошибали изрядные, хотя земля давно обнажилась от снега. Были серые и ветреные дни. Прошлогодний почернелый лист, не сорванный зимними буранами, шумел на редких ветвях деревьев. Вдоль левого, низменного берега Донца шли, в упор к песчаному его пристену[17], необъятные поёмные[18] луга, усеянные озерами и лесками болотной ольхи, вербы и осокора[19]. По пристену, скрепляя его сыпучие пески, шел столетний бор и низкорослая пушистая лоза. С высокого пристена виднелся и правый берег Донца, гористый, также высокий и обнаженный. То там, то сям по последнему белелось село и возносилась одинокая хуторянская церковь. Теплело с каждым днем.

Дичь еще не прилетела, но уже чувствовалось её приближение. Около третьего марта

вдруг затеплило. В тот же день в поле запели жаворонки, а к вечеру как-то торопливо шмыгнула в воздухе стая диких гусей, да отозвалась тощая цапля, мерно махая крыльями и спускаясь к обнаженному еще берегу. Я поехал на Донец. Нетерпение мое превосходило всякое вероятие. Патронташ был туго набит зарядами. Но ожидания мои не сбылись. Еще ни одного птичьего звука не было слышно в бору и в луговых кустах. Я сел на пригорке песчаного пристена. Донец разошелся и заливал, второй уже день, луга внизу пристена. Дубовые и ольховые рощицы по лугам и отдельные вербы торчали из воды, в виде островов. Я вперял глаза в серое небо, в мертвенно-молчаливую землю: тщетно! Ни птиц, ни насекомых еще не видно и не слышно. Я поднимаю полуистлевший листок: под ним у самого моего носа шевелится красная букашка. Одна какая-то зимняя птичка уселась на самой верхушке еще не зеленеющей липы и свистит, свистит, качаясь, как тот же унылый, прошлогодний, забытый бурями зимы листок...

Но прошло два-три дня. Летят журавли. Го-

воят, что мой брат (покойник) «пан Петро послал уж в слободку за двумя соседними стрелками», а в город за охотниками Пфеллером и Михайловским. Весна настала окончательная, валовая. Везде ревут степные овраги, столько известные и страшные путникам по Украине «балки», мгновенно наполняемые снеговой и дождевой водой. Реки и полевые ручьи также вскрылись и несут на своих мутно-желтых волнах обломки плетней и снеговых глыб. Говорят, что вот-вот скоро уже начнется общий пролет и прилет дичи...

Распускается розовая «тала», особый род лозы, покрываясь душистыми серыми куколками цветов. Показываются на солнцепёке, на отвесах жирно-удобренного листьями деревьев пристена, голубые «пролески» — подснежники. Поёмные луга береговой долины Донца представляют у ног разливанное море, ожидающее своих весенних гостей — миллионов дичи всякого рода. И пока мой систематический хозяин устраивает с аккуратностью методиста первый день своей весенней охоты, я уже оттоптал ноги и истомился, бродя по его лесу...

Уже прилетели серые дрозды, большая лесная птица, немного менее голубя средней величины, вкусная и драгоценная пища для тонкого аппетита. На опушках соснового бора вы видите, как эти дрозды то усеют собою землю, подбирая всякие зернышки и семечки, причем с вершин деревьев поминутно слетают к ним, падая, как пули, новые охотники покушать из их семьи, то вдруг облачком поднимаются в темные ветви развесистой сосны и так там усаживаются, что едва отличишь их серое плотное брюшко и острый, твердый клюв. Подходите к ним нужно как можно осторожнее; отыскивать их легко по их особому крику, похожему на тихий треск взлетающего бекаса.

Вы идёте, идёте, следуете за перелетающими с дерева на дерево дроздами. Вдруг справа и слева раздаётся какой-то бойкий гул, и вас на-время покрывает темнота: это пролетели над пристеном к озерам утки...

— А! значит, скоро будут и вальдшнепы!...

Незадолго до Благовещения, мы согласились впятером, помещики Домонтковский, Щербека, я, Пфеллер и Михайловский, ехать

в лес, в землянку первого, под пристеном, у родника, встретить там вечернюю зарю, переночевать и опять рано утром поохотиться. Мы запаслись самоваром, закуской, угольями, погребцом с чайными принадлежностями, взяли ружья и собак и уехали.

— Что это такое Вирий? — спросил я спутников: — кто, господа, из вас знает? Говорится в народе: летит на зиму птица в Вирий. Что же это за Вирий и где он?

Щербека на это, ни слова не говоря, закурил сигару, махнул рукой и лег на землю, близ землянки. Домонтовский и вообще никогда не говорил ни о чем, а более любил слушать. Пфеллер с немецкою интонациею объявил, что «Фирей — это пашти зфирей, где зфир веет тепле... это близ Крим! В Крим это местэ!» Последний из наших спутников, Михайловский, званием пономарь и явившийся в какой-то жениной кофте сверх подрясника, на мой вопрос, отвел за уши длинные волосы и объявил следующее...

В это время кучер вздул угли, усталил на взгорье пристена самовар, приготовил чашки, а мы, отдохнув, собирались идти искать

вальдшнепов.

— Вирей, ваши высокоблагородия, вот что. Птица Божия, тот же человек. А у нас на степи ей мало раздолья. Только и тычется, что около рек. Ну, а Вирей — это птичий рай! Сказано, самое солнце, и то кажные сутки купается, чтоб не потерять своего блеску. На что уже и самый чёрт, и про того говорится у нас, в Млинцах: шел когда-то чёрт в немецком платье, в чулочках, во фрачке, при шпаге и в косе, куда-то на вечеринку около Млинцев. Его и подхватило вихрем на воздух. Верно, другая нечистая сила его доехала. Так его подхватило и повесило за пятку на паутине; а от другой пятки паук повел паутину до земли... Только плел, плел, все никак не доплетёт. Вот уже и земля близко, и поля, и деревни. Чёрт сверху и просится: «Паук, братец, достань ты мне испить воды, да посмотри, что делается на свете; а мне из-под облаков не видно!» — Паук и говорит: — «Воды я достать не достану, на двадцать пять сажений паутины не хватает, а я отоцал и не доплету; а что делается на свете, слушай: выстроен новый город Харьков, и Балаклея выстроена, и Пришиб, и

Млинцы переделаны, снесены под гору после пожара, и тебе люди на свете уже меньше поклоняться стали...» Поплакал чёрт и еще сто лет так висел, пока, говорят, не снял его людям на муку князь П..., когда тут правил...

— Ну, зарапортовался, отче Иване! — сказал, смеясь, Щербека: — куда же все это идет к Вирию?

— К Вирею-то? — ответил, крикнув, почтенный пономарь, по ремеслу и по призванию страстный охотник: — а вот как. Когда чёрт-то еще висел у нас над Млинцами, один раз, от столетней тоски, что висит он все на одном месте, пятками вверх, и запел он вверху какую-то песню... Напряг все силы, запел в воздухе тихо, и пастухи, подняв к нему глаза, все глядели и слушали, откуда это несется песня; с тучею вместе, не летит вверх и не падает вниз. а как будто поет сам воздух! Не то душа чья-нибудь ласточкою вылетала из тела и поет, прощаясь с землею... И слышали пастухи такое дело: летит рогатый жук и спрашивает чёрта (а они уже знали, что чёрт сто лет висит над их селом и что это точно он запел с тоски): «а куда, дядя, лететь в Вирей?

Я опоздал и сбился с дороги». — «Лети, говорит, на Днепр, а оттуда на Перекоп, а там за Кубань, к золотым воротам»... Слышат пастухи далее: летят лебеди и перепёлки. — «Куда, дядюшка, дорога в Вирей? И мы сбились!» — «Летите на Днепр, на Перекоп, а там за Кубань, к золотым воротам»...

— Что же это за золотые фароттэ? Какой басне! — возразил, засмеявшись, Пфеллер.

— А вот какие... Золотые, как золотые; два столба и до самого неба. По сию сторону ворот и холодно, и ветер дует, и засухи бывают, а по ту уже один птичий рай: все вода, вода; Тигр и Евфрат реки плывут, все леса, рощи и сады, и цветы вечные цветут... На воротах сидит, с ключом от Вирей, наша лесная птица сойка, пестренькая, а у сойки в носу ключ золотой, и она на всех языках и криках опрашивает всякую прилетающую птицу и букашек; оттого она на всех криках и умеет кричать, а еще оттого, что она вертится между всеми птицами, и перья у нее разноцветные: и зеленые, и золотые, и белые, и красные, и сизые есть перышки. Она сидит, окликает всех по заслугам, а грешных не пускает. Оттого коршуны и ор-

лы и зимуют у нас дома. А у самых ворот сторожем плавает в лодочке по воздуху сизый селезень, вертит хвостиком, а горлинка, что ни на есть тихая у нас и кроткая птица, в серебряной повозке, запряженной петухом, ездит то в ворота; то из ворот, собирает подавание на птицу больную и раненую нашим братом охотником. Вот отчего, Николай Ильич, нехорошо, когда неумеющие охотники туда же тычутся стрелять из ружей: только переранят, искалечат бедную дичь, а толку мало. Я уже тридцать-два года стреляю. А как иной раз дам промах и только обожгу, да как подумаю, как она после меня ноет, сердечная, волочет крыло или ножку раненую, так есть и пить не. Хочется... Вот оно, что Вирей, господа!

И, подтянув женину кофту, уставив вперед седоватую бородку и нахлобуча на лоб какой-то стеганный на вате и дырявый колпак, Михайловский взял под мышку свое пятирублевое, связанное веревочками ружьецо, перекинул через плечи сумки из холста, с порохом и дробью, и сказал:

— А что же, ваши высокоблагородия, пора

и за валюшнями!

Мы исходили верст десять, истоптали множество березняков, тонких ольховников и сосновых срубов, но вальдшнепов еще не было. Совсем стемнело, когда мы, опустя дула ружей, шли, едва передвигая усталые ноги и сопровождаемые усталыми и запаленными первую весеннюю гоньбою легавыми собаками. До землянки у пристена оставалось еще далеко. Сухой лист шелестел под ногами. Сумерки более и более сгущались над нашими головами.

- А скажите-ка лучше, господа, когда именно прилетает какая дичь?— спросил Щербка: — вот один раз, едучи за пшеницей из Бердянска, я в поле, в позднюю осень, уже по первому снегу, встретил мышиный табор, переселение мышей: тысячи тысяч мышей, как саранча, шли полем, широкою полосой, и двигались тихо, не спеша... На другой год, как они сошли со степей без вести, был неурожай, почти голод. Они, должно быть, ушли заранее, зная по чутью, что будет. Ну, а когда, положим, прилетают к нам и улетают от нас хоть перепёлки, или вальдшнепы, иди гор-

линки и кукушки? Кто их видел, когда они летят?

Все опять смолчали. Пфеллер было начал:

— Они низу идут, они либо верху, очень високо! — но замолчал также.

— Летит всякая птица порознь, — начал опять Иван Андреевич Михайловский: — иная летит в одиночку, а иная и кучами. Как я был еще в причте в Богородске, раз пошел за валюшнями, притомился вечером и заснул на пригорке, под лесом. Вдруг слышу во сне около меня точно крысы или мыши бегают, падут на меня воздухом и свистят такими свистами, да так, что я еще и не слышал. Приподнялся я немного на локоть, смотрю — а ночь была месячная — а возле меня кишмя-кишит какая-то налетавшая невзначай на мое место птица... И вся суетится по земле, шныряет в темноте, посвистывает тоненько и будто машет крыльями, расправляет их; а другие промеж их бегают так, что слышно, как топотят по земле их лапки, ажно на меня иная наскочит. Лежал я этак долго. Прояснил месяц — смотрю: перепёлки. Это они так ночью налетели на меня, сев отдыхать. Смотрел

я на их игранье и отдыхи до самой зари. А перед зарею они опять засуетились, закурныкали, как куры, порхнули, высоко поднялись и, свиваясь и развиваясь, как пчелиный рой, полетели далее. Далее же где-нибудь уже их настоящие летовли, и они рассыпаются там поодиночке и до осени. Горлинки также летят, точно голуби, и тоже, больше по ночам, валюшни тоже, и ласточки... и кукушки... Летят они так, чтобы люди-озорники их не видели по степям, на открытых местах, а днем пасутся в дичинах и глухих бурьянах, пустырях. Перед вечером соснут истомленные, а на ночь опять летят и летят... Я видел раз, как целое стадо таких слабых пташек спало на лощинки, в яру: это наши бекасики. Они летят невысоко; забрать верху не могут, натомятся ночью, а днем спят, накормившись. Ну, журавли, цапли, утята, гуси — тех не стомишь: те свалются сотнями в стаи и летят под облаками...

В это время мы невольно остановились. Вверху, на небесах, шли какие-то невыразимые звуки: точно крылатые эскадроны эльфов и сильфов неслись под облаками, трубя в

свои крошечные золотые и серебряные рога...

— Что это, Иван Андреич? гуси, журавли, дрофы или лебеди?

Но пономарь молчал, опершись на свое длинное и потертое ружье, как тот всем нам любезный путеводитель в пустыне, Патфайндер[20], похождениями которого мы любовались в детстве, в романе Купера. Что он думал — неизвестно. Все также молчали...

Пфеллер прервал тишину:

— Мьюзик карош! Эттэ как у нас в Курлянд: курру-курру-курру... эттэ цапль!

Пономарь поднял ружье, погладил его с особенною нежностью и сказал, двинувшись далее:

— Быте скоро настоящей охоте. Начался общий прилет дичи. На заре будем бить гусей, а может быть, и валюшней... Слышите?

Мы насторожили уши и опять остановились. Собаки тоже замерли, во что-то чутко вслушиваясь. А в кустах слышалось: и мерное, тихое карканье, или хрюканье, и мерный свист ненаглядной и редкой в степях дичи — длинноносых коричневых вальдшнепов.

В землянке, то есть в хатке лесничего, под

пристенном, в тайнике густых кустов. Мы уже нашли и готовый самовар, и свечу в бутылочной шейке, и всю комнату, накуренную от мошки сосновыми ветками, и превосходную ключевую воду. Мы спустились по крутой, пробитой в песчаном нагорье, тропинке к роднику, где стояла хатка, под навесом громадных ольх. В сторонке, тут же, под ольхами, между кустами раkitника, подоспевшие к первому весеннему лову рыбы, соседние лиманские рыбаки на таганке варили кашу. Мы вошли в хату.

Пономарь сел на лавку, молча слушая и кромсая складным ножом какую-то веточку. Щербека опять поместился на спокойнейшем месте, на лежанке широкой варовой печи, подложив под голову свое пальто и патронташ. Пфеллер настаивал чай. Хозяин откупоривал флягу с коньяком. Что роилось в голове Щербеки? Вероятно, мысли его носились далеко, в Бердянске, в Мариуполе, или в Одессе, в какой-нибудь греческой или генуэзской конторе, и он брал денежки за золотую, яркую и полновесную, как коралл, пшеницу «гирку». Пфеллер отличался всегда ролью

анекдотиста, смеша своим выговором более, нежели довольно сальными анекдотами. При пономаре же он всегда был пасс.

Чай был разлит. Самовар шипел довольно жалобно. Комары визжали и бились в окна.

— О чем вы это думаете, отче Иоанне?—спросил Домонтковский пономаря.

Тот уже скинул свою кофту, подвязав сзади поплотнее свою косичку, отчего она стала походить на хвост скачущего по жару от оводов теленка, расправил седоватую бороду и уставил в дымящийся стакан свой куликовидный нос.

— Вы говорите о волках? — сказал пономарь: — а был в Чурбатове раз такой случай. Исправлял там духовный требы, еще при отце Александре, старец Павел, дед отца Смарагда... дьячком то есть был, и так же, как и я, грешным делом — охотою занимался... Порвали у него волки корову. Он ее выволок за рожу, вырыл себе землянку, покрыл ее бревнами, оставя только продушину, взял три ружья двуствольные, перекрестился и пошел на «заседку». Сидит ночь, сидит другую. Видно по месяцу — подбегают зайцы, подбегают и ли-

сицы. Сидит он и задремал. Проснулся — над коровой волк, один-одинешенек, да такой огромный. Он и бацнул; а была глухая полночь. Волк повалился. Только, слышит, около коровы что-то кричит: «Ой, батюшки, спасите... убили... убили». Он туда, смотрит: волк белый, как лунь, точно сто лет или более прожил, лежит и охает, дышит, как человек. Выстрелом, картечью, так и своротило ему левый бок, а в прорванную кожу виден лацкан красного кунтуша, галуны золотые и шмухлерские[21] пуговицы. Так и простоял Павел над волком до зари... ни с места. Занялась заря; уже вместо волчьего рыла явилась и белая, долговолосая казацкая голова. Поднялся чудный волк на локте, а уже жизнь его отходит, и говорит: «Старче! помолись за меня. Сто лет назад, я был казаком и поедом ел православный люд, моих слуг и работников по хуторам. Никто меня не мог остановить, и я питался православною кровью. Да нашелся человек, Шолудько-Буняченко, небывалый еще в наших краях воин. То была кара Господня. Про него говорили, что он не живой, а только ходил по свету, мыкался, как живые;

что он — мертвец, покинувший свою подземную постелью, что у него только лицо людское и кожа, внутри наложены желтые и гнилые кости, как в могиле, и потому он, ходя в Днепр купаться, не снимал рубахи и убивал тех, кто видел на нем знаки тления. Я один раз побил своего слугу Михайлу, оборвал ему с корнем казацкий чуб и плетью еще исполнил его, да и пошел к кустам освежить душу в Днепре. Иду себе, раздвинул кусты, а на том берегу, тоже под кустами, в тишине, на зеленой травке, и Шолудько-Буняченко купается, да без рубашки, весь желтый и в пятнах, точно труп гниющий. Увидел меня, держит рубаху на коленях, уставил в меня свои мертвецкие, зеленые глаза - я так и обомлел... Стою в кустах и слышу: на голове у меня что-то растет, и теплей мне всему становится. Смотрю: я уже оброс шерстью, сзади волочится хвост, нагнулся на четвереньки, и язык сам от жары вывалился. Да как стало мне страшно, и озноб, и ужас прошибли меня, я крикнул... Крикнул и завыл волком; а он сидит на берегу, да смеется, плескается водой и все смотрит на меня своими зелеными, мертвецкими гла-

зами. Вот так-то, старче, я сто лет и промыкался, и спасибо тебе, что ты меня убил. Видно, рука у тебя не грешная, а меня ничья пуля до сих пор не брала. Помолись же ты за меня и отслужи панихиду в Межигорском монастырь. Я там по близости жил и люд православный мучил!..» Как умер он, старец Павел заявил суду. Наехал суд. Смотрят: вместо волка лежит уже настоящий казак, седой, седой, столетний, в красном кунтуше, при сабле и в желтых сапогах. Такого наряда тогда уже и не видано было нигде, и старца Павла освободили от следствия... Такие-то случаи бывают на «заседках»...

Напились чаю. Начались общие разговоры. Щербека лежал и курил. Пфеллер принялся чистить и без того чистое ружье, возясь с своею собакой, щенком десяти месяцев — отличной английской породы сеттер, желтой лисьей масти и вида. Он даже уверял, что эта порода — хитро-устроенная англичанами помесь собаки с настоящею лисицею, что, действительно, слегка подтверждалось невероятною хитростью, резвостью и чутьем еще щенка, заморенного дрессировкой. Пономарь из

липового черенка сделал дудку, подрезал её кору, как-то продел в кору черенок с углублением, и дудка стала кричать уткой.

— Это на завтра. Станем подзывать селезней!— сказал Иван Андреич.

В хате стало жарко, а окон и дверей от мошки нельзя было отворить.

— Не выйти ли нам, господа, пока на воздух? — предложил я.

Компания двинулась к ольхам, к огню рыбаков. Каша уже была готова. Нас попросили присоседиться. Мы подкатили к котелку бревно и кое-как разместились. Рыбаки были государственные крестьяне, очень бедный народ.

— Что меня удивляет,— сказал Щербека, указывая на меня: — Скавронский[22] так недавно еще в наших степях, а уже стал рьяным охотником: в метели и в дождь, по ночам и бурям, не боясь ни наших комаров. ни болот, охотится, как и мы, грешные. Или уже это в крови?

— Я тоже думаю, что в крови. Охотники не делаютя, а рождаются, как и государственные великие люди... До охотничьей души надо дослужиться у Бога! — заметил торжественно

Домонтковский, вообще любивший более процесс охоты, чем самую охоту, так, от скуки.

— А вот «янки» другое дело, — сказал Щербека, — не правда ли? Мы с вами, Петр Иванович, сделались янками по расчету, по воле? А помните, Иван Андреич, как я, будучи студентом, двое суток торчал с вами, без хлеба, в болоте, увязнув в трясине, под Васищевым?

Пономарь тряхнул косичкой и усмехнулся.

— Кабы не стрелок-промышленник, пропали бы мы ни за грош!

— Да, таки-набрались муки! Двое суток провозились по пояс в трясовине...

Пока мы сидели у огня, подкладывая дрова и толкуя друг с другом, рыбаки сходили вниз к озерам, к своей лодке, осмотрели вентери [23] и опять воротились.

— А что, господа, не будем сегодня спать до самой зари, — отозвался я с предложением: — протолкуем лучше до утра и встретим на ногах первую нашу весеннюю охоту!

— Отлично, Александр Сергеевич! — подхватили остальные.

Мое предложение было принято. Мы под-

кинули в огонь веток и расположились, кто как захватил место. Домонтковский обратился к рыбакам.— «Как тебя звать?»

— «Андрей Шаповал!» — «А тебя?» — «Терешко Товстый!»

— Ну, Терешка, сказку...

— Дайте бубликов вязку.

Все засмеялись.

— Ну, скажи небылицу...

— Дайте паляницу[24]...

Терешко оказался, несмотря на свой жалкий и загнанный вид, балагуром! Ему и его товарищу дали по здоровенной чарке коньяку;

— Ну, да и горилка же, бес ея матери... ува! Спасибо вам, господа. Спасибо! Какую же сказку? Разве про того человека, как он ехал, да и загубил рукавичку; а туда влезла жабка-букавка[25], за нею рак-харавар[26], за раком зайчик-побегайчик, за ним сестричка-лисичка, за нею волк-гаврило, зубастое рыло, за ним медведь-михайло, до меду подбирайло, и как они там стали мирно жить, хлеб-соль водить... Эту?

— Свинство! — сказал с презрением поно-

марь:— такие сказки не подобает благородным дворянам слушать!..

Я было хотел вмешаться. Щербека мне мигнул.

— Ну, так какую же?— спросил, обидевшись, рыбак.

— Скажи историю, историю, коли знаешь, про важные и мудрые вещи! А то, чёрт знает что, только уши мозолишь и охоту нашу спортишь!..

Терешко начал свой рассказ, как умер царь Ирод и как у него родился невиданный царевич...

Долго говорил Терешко. Пономарь присмирел и слушал его с восторженным вниманием. Прочие гости дремали...

В кустах неожиданно звякнул соловей и долго-долго пел, изумив нас своим ранним появлением. Засвежело. Поднялся туман от Донца. Месяц был в тучах. Но тепло и душисто было в лесу. Мы не выдержали, потушили огонь и ушли в хатку, запершись от комаров. Я просыпался часто, почти не спал. Не спал и пономарь. Прочие храпели...

— Слышите, слышите, — говорил поно-

марь,. садясь в потемках и замирая от собственных слов: — слышите? То птицы из Вирея летят; то перелет, настоящий перелёт начался...

А над хаткой точно плыли крылатые эскадроны. Шум, свист и какое-то мерное, точно живое гудение несло, трубя, в небесах... Казалось, необъятные стаи летели, опускаясь на самую кровлю хаты; будто сотни крыл махали у дверей, над трубой, и веяли ветром в самые окна. Либо комары и мошки, либо пестрые птицы бились мерно в стёкла. Сон походил на действительность; грезы являли мыслям чудные картины степного перелёта. Сердце билось; в виски стучало; в ушах звон; на небесах звон!..

— Иван Андреич! Что это? Гуси кричат, или журавли, или певчая лесная птица?..

— И гуси, и журавли, и лесная певчая птица!

Опять загремел соловей. Я долго слушал, сидя на лавке.

— Иван Андреич! как это все разом летит и поет. Что за странная, чудная ночь!

Ответа не было.

— Иван Андреич! вы спите? Иван Андреич?

Пономарь не отвечал. В лицо мне повеяло чудною свежестью и негою... Смотрю, дверь отворена. Я вышел на крыльцо. Пономарь там...

— Боже, что за ночь!

А Иван Андреич, в косичке, без подрясника и простоволосый, стоит на пороге, против месяца, и плачет.

А вверху опять гул, точно реки звуков несутся в облаках, или крылатые струны звенят в воздухе. Летят и летят, летят без конца воздушные армии. Свиваются в колонны, точно строятся рядами, взводами, рассыпаются, опять смыкаются в подвижные каре, летят без конца. Донец сияет серебром; озера у ног отливаются золотом. Должно быть, лопнули и вскрылись липкие назревшие почки черемухи, или береза впотьмах окинулась кружевом своих развернувшихся светло-зеленых куколок. Что-то пахнет, пахнет вблизи. Летела какая-то стайка над ольхами. Маленькая птичка впотьмах наткнулась на самую дверь хаты и отшатнулась, с пугливым шорохом, шныр-

нув в сторону...

Мы пустились на охоту, чуть стало, как говорят здесь, «благословиться на свет». Видели игру ярко-пурпурного солнечного блеска в тумане озер и на корнях деревьев. Охота была удачная. Собаки шли по росе отлично. Мы воротились с полными ягдташами.

III. ЛЕТО.

Временные с весны озера в степи. — Насекомые. — За-суха. — Охота на дроф и стрепетов. — Охота на перепелов. — Степные марева.

Охотник с жадностью ловит последние дни весны. Скоро водополь[27] спадет, и птица сядет по гнездам.

Дни еще влажны и прохладны. Апрель в полном ходу. Не вся и птица прилетела из «Вирия». Апрельские насекомые роями слетаются, шумят кисейными чешуйчатыми крыльями, оживают и ползут из земли, из щелей древесных корней, из-под гнилой коры и всяких норок, где они ждали тепла и Божьего весеннего дня и солнца, в долгую зимнюю спячку. Вот ползет между стеблей крапивы продолговатый жук-крестовик, черный, с белым

крестом на спине. Вот темный, с желтым пухом на груди и на спине, шмель гудит басом и ищет медовой чашечки едва распускающейся груши. Зеленые майки, с фиолетовым брюшком. в ожидании листьев туго оживающей ясени, усыпают собою первые листья сирени. Желтые, голубые, алые, белые и сизые бабочки, как лоскутья разноцветных шелков и ситцев, перебрасываются с куста на куст и мелькают между деревьями. Коричневая круглая коровка, величиной с воробьиный глазок, ползет на гладенькой былинке, раскидывает оборочки нескольких слоев крыльев — бронзовых с черными крапинками, зеленых с серебряными точками и белых кисейных, как будто пробует их, и звенит, улета в сверкающую синеву. Торопливо суется подорожный, вам знакомый, черный жук, изо всех сил барахтаясь и катя, непременно задом, навозный, слепленный собственными средствами, шарик в темную подорожную же норку. Крылатые гусеницы, рои мошек и комаров-трубачей снуют взад и вперед, или стоят клубами в воздухе, точно висят в нем сверкающими искорками, и тысяча ласточек, очере-

тянок[28], вавакушек[29], серых и черных дроздов, иволг и всяких мухоловок носятся, стелясь за ними по земле или ловя их в воздухе, меж ветвей и над вершинами деревьев...

Птицы прибывает более и более. Одна стая снимается и улетает; другая тут же падает на ее место, усталая и голодная. От вечерней зари до утренней пощипала травки, отдохнула и опять летит далее семья степных гостей, к вам на север, в Тамбов и Владимир, под Москву и в Сокольники, в Парголово и в Мурино [30], всюду, где вы ждете ее от нас. господа записные северные-охотники.

Птицей уже полны реки, озера, болота и степные водные застои. С этими последними выходят странные дела.

Среди широкой, гладкой степи зимняя вода стекает в мелкие, но огромные котловинки. От первой оттепели до засухи, эти котловинки рядятся в сущие озерки; устилаются речными порослями, окружаются мелкой осоклой и временным видом озер и болотных плёс приманивают к себе перелетную дичь: уток, дупелей, бекасов. кроншнепов, цаплей, даже иной раз гусей и лебедей. В виду моего

хутора, однажды две ночи на таком обманчивом болотце, на вековой целине, прогостили три пары превосходных перелетных лебедей. Иная птица, особенно беспамятная и глупая дикая утка, здесь соберется и гнезда вить, забьется в низенький кушир[31], ждет его роста, нанесет яиц и потом жестоко ошибется. Эти степные плёса, эти широкие и красивые озера, с яркою нежною зеленою, эти наши Лаго-Маджоре и Лаго-ди-Комо[32], являющиеся, по манию волшебника, близ диких степных терновников и вишенников, также по манию волшебства и исчезают. Пока влажный апреле еще царствует, пока в начале мая еще перепадает дожди, даже старые и настоящие охотники ходят туда охотиться. Ненапуганная птица там еще близко подпускает. Вы увидите, как на ладони, рано поутру, на ярком стекле таких озерков, кучу бегающих по колону в воде, красноногих и голоногих куликов; увидите стадо чирят, маленьких уток, купающихся в воде и чистящих носами свои серенькие груди. Увидите мирно шагающую цаплю и набьете полный ягдташ резвых дупелей и бекасов. Но вот потянуло зноем. Воды

вошли в берега. Дороги просохли. От идущих толоками[33] стад взвивается серенькая пыль. Вы кидаетесь в степь к терновнику, к знакомым озеркам... Их нет, как не бывало. Мигом все уничтожил собою зной, уничтожил и унес в небо и воду, и ее налетных обитателей, уток, куликов. цаплей и бекасов. Вы ходите по месту, где еще недавно тонули ваши ноги, облаченные в охотничьи ботфорты; земля суха, степная травка устилает ее, и мужичок-хуторянин, как бы в насмешку вам, еще запахал половину ее под пшеницу...

Все сохнет и мертвеет, под веянием нашего степного сирокко и самума, нашего неодолимого «суховея». Зарядил он в половине мая, да иной раз остановится только в конце августа, не уронив на обессиленную и раскаленную почву ни дождемки, ни росинки. Тогда беда всему: и живущим. и прозябающим, и птицам, и животным, и растениям. Степи трескаются, всходы хлебов выдуваются с корнями, берега рек желтеют, сами реки пересыхают и превращаются в нити реденьких и иловатых озер. — «А что, какова ваша речка Берега теперь? — спросил я однажды из Пе-

тербурга, в июне, своего южного приятеля: — что в ней теперь и мелет ли ваш млинок[34]?» — В нашей речке теперь пыль — лаконически ответил мне приятель: — «пыль, одна пыль — вдоль и поперек!»

Вы вышли в поле... Нет сил спастись от зноя. Дорога вся в трещинах. Тарантулы шныряют от норки к норке. С жалобным стоном носятся над головою чубатые чайки, «чайки-небоги, что вывели деток при битой дороге, как говорит наша старосветская-песня, творение Мазепы, по народному преданию, соединившему судьбы старой Малороссии с этою вечно тоскующею птицей-чайкой. Ветер спит, на время перемолк. Даль, с левой стороны, сверкает полною безоблачною синевой; с правой, завесилась тучами, и из-под их сизых и белых пепельных пологов доносятся непрерывные раскаты грома. Но дождя нет. Тучи обманывают. И опять зной, и зной. Все молчит. Птица сидит или садится на гнезда. До Петра и Павла[35] закон и совесть запрещают ходить на охоту. Но вот и этот праздник. Только нет, мало поживы охотнику летом в степях. Наши степи безводны. По большим

рекам только и охоты. А много ли их у нас? Днепр, Донец, Ворскла, Самара, еще две-три значительных, с заливными «луками» и болотами, и только. Надо ехать на молодых бекасов и дупелей верст за семьдесят. Уток иной раз найдешь в степи и близко, на хлебе, во ржи или пшенице, а иной раз и прямо, среди поля, на стогу прошлогоднего сена. Но это еще не охота. Надо ждать осени, обратного пролета дичи, с севера, от вас, из Тамбова и Парголово, Сокольников и Мурино.

На что же охотятся в степях в самое лето? На дроф и стрепетов круглое лето и везде по всей нашей степной равнине, на куропаток иногда, близ лесных балок и терновников, где попадают на след их выводков, всегда сторожко ищущих леса, чтоб спрятаться от громадных наших коршунов, и на перепелов, во время покосов проса, с сетью и с собакой. На журавлей бывает также охота, и охота заманчивая. Но их стаи попадают год от году реже и реже и держатся более в остатках, огромных когда-то, наших камышей.

В конце июня однажды я получил из Золочевской заимки письмо следующего содержания-

ния: «Милостивый государь, господин Скавронский! Пора, ваше высокоблагородие, охотиться. Птичка всякая уже спорхнула с гнезд. Петр и Павел благословляют днесь! Мне бы и не следовало в моем сани. Сказано попам и причтам: не пролейте крови живущих и не убейте ничего-же и нигде-же. Ну, да молитвами святых угодников охотимся уже тридцать-два года и другим желаем того же счастья. Прежний владыка нападал и отрешал от причта, а этот позволяет. И впрямь: ничто это в грехе? А Давид ловец пред Господом? Не умалишася душа моя в охоте, а аще познает чудеса Господни, читая в природе, и вем[36], яко грешен, но молюся и в вере не оскудеваю. А хорошо бы, ваше высокоблагородие, на стрепетков и дрофов; появились в великом буйстве и несть им числа. Деркачѣвский коваль[37] сказывал, что как овцы ходят. А Семен с Зайковки даже приковылял ко мне и говорит старина: есть куропатки... Едем, ваше высокоблагородие. Жду вас у себя. Ваш богомолец и слуга, пономарь Иван Михайловский».

Сильно я обрадовался зову дорогого прия-

теля и, по здешнему выражению, тотчас «побежал» к нему на паре хуторских пегашек. Пономарь оставил уже город, теснимый братией, и жил в причте Золочевской заимки, в живописнейшей местности самарского побережья. Я застал его в трудах. В низеньком сарайчике он справлял из шалёвок[38] лодку-плоскодонку для соседняго паныча, стягивал ее веревками, вделывал дно и пыхтел, что было сил. Он мне очень обрадовался. Его косичка приветливо заколыхалась. Его жидкая борода, с нашего расставания, показалась мне еще жиже. Глянув вниз, он отер с лица пот и улыбнулся.

— Э! а я вас вот как ждал!— сказал он, не поднимая глаз.

— Что это вы? Вы и плотник?

— И плотник, и кузнец, что нужно...

— А рыбу ловили по весне?

— Ловилась, да плохо. Коропа[39] тёрлись; десятка с четыре поймал...

Мы вошли в его новое жилище... Полная и румяная, статная хозяйка что-то стыдливо сунула в угол, под печь, и, сейчас явившись, села, как барыня. И они барыням завидуют! Да-

же чепчик нацепила... Мы с её мужем пошли за перегородку. Там был артистический хлам: стенные часы, какой-то портрет масляными красками, три стареньких ружья на стене; начатая небывалая клетка для ловли перепелов, куда в середину сажают самку под вечер и, вынося в поле клетку, ловят самцов особыми дверками, в виде силков. Наструганные палочки еще валялись по полу. Сынишка-пономарченок возился под печкой и пачкал без милосердия фалды еще новенького сюртука.

— А что, сын ходит в школу?— спросил я.

— Нет, плохо, не учится!

— А что?

— Быть и ему охотником. Такая уж душа! Стянул где-то голубя, повел племя под печкой и теперь торгует. Рубля на два уже наторговал...

— Куда же мы едем на охоту?

— Едем на дроф; да пораньше завтра, до зари.

Мы собрались до света, на простой телеге, запряженной в одну лошадь. Чтоб еще более обмануть сторожких дроф, на телегу даже навалили сена, утыкали ее часто свежими вет-

ками, кое-как уселись за ветки с ружьями и поехали. Все искусство охоты на дроф состоит в том, чтобы обмануть их сторожкость сколько можно более, представляя из себя мирных странников, возниц сена или хлеба, и подъехать к ним как можно ближе, то есть на выстрел.

Солнце еще не всходило, когда мы вытянулись из поселка, потонувшего в садах, поднялись на пригорок и поехали ровной, гладкой степью, еще сочно-влажной от дружной росы, нежданно подаренной скупым небом той ночью. Лошадь, фыркая, медленно пробиралась сперва дорогою. Потом мы своротили на хлеба и сенокосы. Чуть брезжило, и жаворонки еще не пели. На востоке появление солнца предвещали багровые полосы, захватывавшие окраину неба более и более. Но еще густая, свинцовая тьма устилала небо с той стороны. Пахло свежестью и травами. Влево, где-то за косогором, на незримом хуторе, надрываясь, кричали петухи, и по воздуху доносились их крики. Вправо, в тумане, виднелись далеко-далеко одинокие стога. Вдруг из-под ног лошади порхнул и, вырвавшись, клубком

покатился по траве заяц.

— Стреляйте, стреляйте! — крикнул я второпях, ища ружье.

— Что вы, что вы! — зашипел пономарь и, ухватясь за шапку, присел: — а дрофы?!

— Да, точно! — И я опустил ружье.

Ехали мы еще долго, версты три и более. Ничего не видно. Лошадь только мерно шагает по зеленой целине, да пофыркивает, поглядывая на росистую, сочную траву.

Влево, между пахотями, забелело стадо овец.

— Что это? Шпанки[40]?— спросил я.

— Ай, ай, ай!— еще тише и плотояднее зашипел пономарь:— молчите! Какие там шпанки, то дрофы!

И действительно. Огромная стая дроф, штук в сорок, мерно выстроилась и, подняв на нас издалека свои чуткие круглые головы, тихо шагала и в рассыпку паслась на заревом прохладном корму.

— Что же нам делать?

— Ах. Боже мой, да молчите!! молчите и сидите, или лежите пузом!!!

И начал пономарь кружить. К дрофам надо

бы ехать прямо, а он забирает в бок, делает круги, круги побольше и поменьше. Все уменьшая круги, наконец, он выровнял телегу так, что дрофы стали менее, чем на выстрел. Он тихо сполз с телеги, взял ружье, лошадь пустил по прежнему безостановочно и, вдруг выйдя из-за телеги, приложился — и выстрел грянул. Картечь засвистела по крыльям. Затем грянул другой выстрел. От обоих упало три дрофы; четвертая сначала не могла подняться и долго бежала по земле, размахивая крыльями. Я приложился вслед за ней и за всей улетающей стаей, и дал, без сомнения, промах.

— Полетела умирать! — подтрунил Иван Андреевич, подбирая своих убитых дроф.

Мы едва встали на телегу, так они были велики и жирны. Стадо перелетело не далее версты и село в наших глазах. Мы опять поехали на них, и опять пономарь стал делать повозкою свои хитрые круги. И странно: стоило показаться в виду этого стада, за полверсты, мальчику-пастуху, в одиночку, и оно бы снялось и улетело. А нашу телегу подпускало на двадцать сажень и попадало бы, до по-

следней птицы, если бы у нас стало терпения следить за перелетами и присестами. День прояснел окончательно; солнце было, по местному чумацкому выражению, «на два дуба», то есть стояло над небосклоном — на высоте часов восьми. Мы немного притомились и ехали тише. В мелких бурьянах из-под телеги со свистом поднялось на упругих пестрых крыльях стадо стрепетов. Мы по ним дали два заряда, и четыре птицы, кувыркаясь, полетит наземь. — «Славные стрепеты! отличная пташечка!» — сказал пономаре, самодовольно потирая жирную, увесистую, благородную степную дичь.

— Не довольно ли на этот раз. Иван Андреевич.

— На журавликов бы, еще крохотку...

— Да вы же устали!

— Не устал; убей Бог, не устал-с!

Найдено новое стадо дроф, стадо, не виданное по величине, голов в полтора ста. На него мы наткнулись врасплох, поднявшись на крутой косогор, усеянный терновником и «дерезою», мелким степным кустарником, так безнаказанно ломающим на целинах здешние

плуги. Дрофы нас увидели, но не слетели. Было жарко, и большая часть из них лежала на траве, на образец страусов, с которыми дрофы очень и схожи, запрятав от зноя головы в стебли. Одни дрофичи чутко и сторожко расхаживали, поглядывая по сторонам и гордо выставив бело-коричневые, пернатые оторочки своих шей. Пономарь остановил лошадь. — «Ну, делать нечего; выпряжем лошадь и пусть пасется; будто в поле за сеном приехали! — сказал он: — а мы полезем травами, да лощинами и подползем к ним вон тем яром!»

Мы пустили спутанного коня, а сами зашли снова за косогор и поползли травами на животе, с другой стороны, стараясь вползти в длинный яр, подходивший к самому месту, где были дрофы. Мы ползли долго, более полуторы версты. От непривычки, я значительно отставал; но мой спутник, с налитыми кровью глазами, в одной рубахе, держа ружье впереди себя, полз без усталости, извиваясь, как ящерица. Изредка только остановится, поднимет голову из густой травы и глянет по степи, наставя ладонь к глазам. Я тоже оглянулся:

лошадь виднелась далеко-далеко, щипля траву вблизи чуть видной повозки. Мы уже обходили дроф. Ползя в траве, иной раз мы натыкались то на муравьиную кучу, то на гнезда жаворонков, чаек и длинноносых полевых куликов, называемых «грициками», летавших роем над нашими головами. Два огромных коршуна, шныряя в недостигаемой высоте, медленно кружили, будто плавали, над нами, зорко следя за мелкими птичками, выпархивавшими из-под наших голов. Кое-где пестрела, скрываясь от нас, серенькая змейка, да на тысячу ладов перекликались, оглашая степь свистами, наши лютые бичи, овражки-суслики, поедающие сотни и тысячи десятин наших хлебов. Иная букашка блестела в траве, как аметист или яхонт. Жгучий, медвяный запах цветов кружил голову. Наконец, мы спустились в овраг и сели отдохнуть.

— Ну, истомили вы меня, Иван Андреевич!

— Ничего-с! Добыча будет лютая!

Пономарь вынул трубочку, набил ее и закурил. Он протянул руку по оврагу к одному месту, где травы были гуще и сочнее и где отзывался коростель — «Идите туда, барин; там

наверно родничок, захватите в стаканчик водички!»— Я вынул складной клеенчатый стакан, пошел туда и действительно нашел ключ отличной холодной воды, сочившейся из ребер оврага по травке. Мы напились, зарядили ружья картечью и, подкравшись к окраине оврага, почти в упор беспечно лежавшим дрофам, навели ружья в более густые кучи.

— Бить, Иван Андреевич?

— Стойте...

Он встал, спустился в овраг, снял шапку, перекрестился, потом снял сапоги, левый переменил на правую ногу, а правый на левую (это был его обычай и поверье в более важные минуты охоты, для верности удара) и опять прилег и стал целиться...

— Бейте...

Грянули первые и вторые выстрелы. Дрофы шарахнулись, как стадо овец, пробежали несколько десятков шагов в разные стороны и врассыпку поднялись, летя над нами и обдавая нас прохладным веянием от своих дрожавших широких и мощных крыльев. Не успели мы взглянуть, сколько упало убитых

дроф, как с противоположной им стороны, из другого ярка, из травы поднялись озадаченные и с ружьями другие два охотника, также подползавшие к дрофам. с другой бесконечной степной дали, и предупрежденные нами почти в самое мгновение своего прицела. Они подошли к нам. Это были охотники-промышленники из военных соседних поселян, один в солдатской старой куртке, а другой в цветной рубахе. — «Ишь барин, — начали они: — мы ползли версты две до них с утра, да орел их напугал близко уже от нас, а теперь опять с завтрака ползли до них, вот по какие поры — а вы их постреляли»... — Пономарь, не глянув даже на их печально ухмылявшиеся лица, презрительно качнул косичкой и бородой и молча пошел подбирать дроф: семь штук лежало по траве, восьмая раненая далеко бежала полем. Он поручил мне стеречь убитых, сам добежал до лошади, сел на нее, подобрал фалды своего подрясника и пустился вскачь на кобылке за дрофой. Через полчаса он и ее притащил верхом. Промышленники постояли, поглядели и пошли далее, отмеривая новые версты до знойной, сверкающей

степи. — «А где нам на стрепетов еще поохотиться?» — крикнул им вслед неутомонный пономарь. — «Вон в тех вершинах найдете!» великодушно ответили незнакомцы, оборачивая издали истомленные лица. Мы двинулись далее. Через полчаса степь за клубилась. По ней протянулись белые дымчатые полосы, будто потоки вод хлынули и заструились бегучими лентами по полю. Ветру не было, но полосы клубились и заливали даль. Вот они стали расти, из их стеклянных волн вытянулись такие же дымчатые верхушки — столбы, каланчи, деревья, стоги, целое село, лес и овраги. А вот выдвинулся, колыхаясь, курган. На нем стоит на одной ноге, поджав другую, журавль и, закинув голову под крыло, спит в знойной и сверкающей синеве воздуха. Это — «марев», наш степной мираж, поэтическая фата-моргана, порождающая столько толков в нашем простонародье.

IV. ОСЕНЬ

Охота на перепелов. — Отроковица и золенчук. - Перевал в байраки и овраги.

Однажды мы приехали на хутор Золочевскую-заимку. — Хозяйка пономаря, опять в чепчике, но с засученными рукавами и по локти в тесте, встретила нас приветливо. Прохлада низеньких комнат, с открытыми ставнями обхватила нас и утешала, с приправой доброго полудника[41], все хлопоты этого первого счастливого дня. На другой день мы снова двинулись в поход, а хозяйка Ивана Андреевича повезла дичь на особой тележке в город на базар, оставя мне законную долю, которую я тотчас же послал к соседней барыне в презент. О дрофах кончу тем, что мясо их необыкновенно вкусно, если намочите его дня на два в уксусе, и очень похоже на мясо диких оленей. Они иногда зимуют в степях, не улетая в «Вирий», особенно, если зимы теплы и малоснежны. Тогда бывают потешные истории. Выпадающий ночью снег запорошит перья спящих кучами в сухих бурьянах дроф; ночью же ударит оттепель, а к утру

мороз — крылья оледенеют, дрофы лететь не могут. И мне самому в детстве случилось видеть, как мальчишки на заре загоняли в барский двор дроф, голов по двадцать и более, прямо палочкой, как овец.

Так мы проохотились, имея перевалы[42] на Золочевском хуторе или заимке, недели полторы, ловя по вечерам удочкой рыбу, а днем отыскивая дроф и стрепетов. Как-то выбрался день, и мы отправились еще с дудочками и сетками на перепелов. Мой товарищ уверял меня, что за Бритаем, в просах и по столетней целине, их не оберешься. Мы запаслись съестным, остались полегче, чуть не в одних рубахах, и пошли. Выйдя в степь, ударишь в дудочку, на голос самки, раззадоришь двух-трех бойких и голосистых самцов, сеть раскидывается по траве, сам ложишься близ сети, со стороны, противоположной перепелу, продолжаешь его манить, и он подходит к самому вашему носу, надседаясь от щеголеватых ваваканий и крупного, звонкого щелканья на множество ладов. Вы его спугнули, и он уже в сетке. Мы ловили с утра до вечера. Множество крикунов уже сидело в холстяной

запасной клетке, толкаясь озадаченными головками о ее стенки. Поздно вечером, уже перед заходом солнца, случилось странное дело...

— Что это значит, Иван Андреевич, вы сюрсюкаете уже сотый раз, а перепел нейдет в сеть и отзывается все с разных сторон? Сказать бы, что он высматривает засаду и перебегает с места на место? Так нет же: такиеходы ему не под силу, и ему так скоро не перелететь; а он бегают, и не видно, чтобы летал...

Пономарь тревожно погладил бороду и вздохнул.

— Что вы?

Он тихо погрозил мне пальцем, чтоб я молчал, и сказал шепотом:

— Эх, молчите! То отроковица, или, может, и сам зеленчук...

— Как отроковица? Что такое зеленчук.

В это время, под звук дудочки, с места, где мы ожидали отклика перепела, раздавался какой-то писк. В сыром и тихом, благоуханном воздухе вечера и в густой траве, где мы лежали, толкая носом кудрявые былинки цветов, нас этот таинственный писк подрал

морозом по спине. Темнело более и более...

— Нет, Александр Сергеевич! Не будет толку из этого перепела! То не перепел, когда уж так... Не будет толку... Пойдемте! Оно не так кричит.

И он стал торопливо снимать сеть; снял и зашагал по росе так, что я едва его догонял...

— Что же это такое, о чем вы сказали, отроковица и зеленчук — спросил я, молча пройдя с ним в сумерках порядочное пространство.

— Отроковица, это одна такая перепёлочка, про которую говорят, что была она прежде поселянкой... Ну, поселянкой... ну, ваше высокоблагородие, один помещик, понимаете... приударил за нею, за перепёлочкой-то... за поселянкой-то..! ну, и загубил ее, коршунице! Как загубил? Значит, только отдала она с горя Богу душеньку; ну, и пошел, . он коршунице, за перепелами-то любил ходить! Пошел, а она, её душенька-то, и стала его лякать[43]; перепелом прилетела — кричит, манит, пугает его и завела в трущобу; там черти его и доломали! С той поры такой перепел и живет промеж людей и пугает всех до смерти! Его не

поймаешь, особенно, ваше высокоблагородие, коли кто из вашей братии, извините, на него наскочит... Беды бывают!

— Ну, а зеленчук?

— Зеленчук такая штука, род травки, волосатенькая и вся зеленая; не то гриб, не то корневатая, клубчатая былинка, и летает. Это то же, что житнички, домовые, что живут по житам, величиной с воробчика, и ползают, как кузнечики, по былинкам. Тех мавками зовут, а этих — зеленчуками: эти мохнатее и кричат всякими голосами. Любят подшутить. Раз и со мною было. Манил я его, манил дудочкой под сеть, еще с отцом Павладием покойником ходил по перепела. Он и зашел уже под сеть. Я к нему, а оно, волохатое[44], сидит и глядит на меня, как лягушка, да и говорит: «а что, братец поймал? Ку-ку! Ку-ку!» — Да как прыгнет, точно вихорь, и унесло с собою всю сеть — как ветром задуло: понесло по полю и по ярам. И кусочков после не нашел...

Я глянул: товарищ мой был бледен, как полотно.

На другой день мы отправились снова на дроф. Завидев стадо, распрягли и пустили ло-

шадь по траве, близ повозки. Но оводы и мошка пришпорили ее, она замотала гривой и как бешеная кинулась вскачь, куда глаза глядят. Проводив ее взорами, мы также покачали головами, сложили багаж на повозку, оставили ее, на волю судеб и под охрану отроковиц и зеленчуков и пошли с ружьями, сами не зная куда и по какой дичи, как ходят истинные охотники.

Мой товарищ шел, по прежнему, без усталости. Я томился от зноя и давно поглядывал по сторонам, выбирая долинку или кусты, где бы спрятаться и отвести дух в тени. Но ничего подобного не было. Степь тянулась без конца. Вскакивали из-под наших ног куропатки; раза два стогнали куликов. Но я ничего не видел от зноя. Мой товарищ, с своей стороны, не стрелял от скупости, по привычке старых охотников, положив себе целью непременно стрелять в тот день только по дрофам. Но дроф не было. Я был готов упасть от тоски и духоты. Судьба сжалилась надо мною. Вдали мелькнуло отрожье степной балки — лесистого, чудного байрака...

Эти балки и байраки в степях — любопыт-

ная вещь!

Происхождение их довольно загадочно. Степь неисходная во все концы, а среди гладкой, безлесной пустыни — ярк, длинный, продолговатый овраг, и этот овраг полон деревьев и кустов. Точно в смятении потопа, устремились сюда из общей засухи, из мертво-гладкого поля, тысячи спасающихся животных. И белокорая березка, и дубняк, и клёны, все здесь есть. Откуда же это? Кто сеял эти байраки? Откуда взялись лесные семена, когда кругом на десятки верст нет ни былинки? Есть, два объяснения: или семена сносило сюда по временам потоками оседавших вод доисторического моря, дном которого, говорят ученые, были наши степи; или в эти прохладные логи, всегда обильные ключами, бьющими из их крутых рёбер, семена заносились случайно птицами и под влиянием счастливых обстоятельств, которых нет в остальной окрестности, давали густые рощи. Такие байраки — заветное место украинских пасек. Здесь пчел укрывают от зноя. Отсюда они берут кругом неслыханный взяток с цветов девственных полей; но только в дожди. В

засуху степь — даже без трав. Не встречая кругом ни кустика, иной раз, верст на пятьдесят, сюда стремится весной тысячными стаями перелетная птица. Остаются здесь вить гнезда и летовать обычные их обитатели: кукушка, дрозд, горлинка, сорока, мелкие очертянки, совка, куропатка и очень часто утки, особенно если в байраке есть ключи.

— Чей это байрак, Иван Андреевич?

— Колчигинский, прозывается бритайским...

«Чуть не британский: громкое имя!» подумал я.

И это уже были последние мысли. Я упал почти без дыхания и памяти под ветви коренастого дубка, окунулся в травы и долго-долго не мог раскрыть глаз от усталости. Что-то жужжало и звенело, и пело вокруг меня.. Прохлада неслась снизу. Мы улеглись под крутизной, в первом сумраке кустов. Шлепая в мокрой осоке, на дне оврага, перелетела и снова села где-то внизу, очевидно, утка. Оттуда, где она села, неслось кверху шопотливое шуршуканье струек ключа. Мы затихли и долго-долго не подавали друг другу голоса. Ка-

кая-то муха, востроноса, чуть не в полвершка величиной и с черными, в пурпурных пятнах, крыльями, качаясь, сидела у самого моего носа, на веточке кудрявой травы. Желтый, с огненными и черными подпалинами, хорь, бич сусликов, длинный и извилистый, вышел из норки, пробираясь, вероятно, к родникам вниз оврага, прыгнул шаловливо раза два вперед, назад, сторбил дугой свою мягкую, длинную спинку, погрыз какой-то стебелек и пошел опять далее, резвыми прыжками, блестя парой белых передних зубов и мелькая в траве, как мяч. А вот и куропатки курныкают, как цыплята, и рядком, вереницей пробираются из густой травы к кустам, в пяти шагах от нас. Вот одна явилась и толчется на месте, и разгребает лапками землю, так же суетливо и попусту, как подчас и наши глупые, простоватые куры; за нею, из сети трав, просовывается гладенький носик, другой...

— Стрелять ли, Иван Андреевич? Видите?

— Еще бы! Нет, уж лучше пусть идут! А это?...

И он указал в небо. Сквозь сетчатую листву слышались серебряные звуки. Огромная

стая журавлей, треугольником, неслась, чуть видная, под облаками, мерно махая крыльями и будто плывя над нами.

С Щербекой я встретился раз перед порою, когда ожидали снега. Была еще влажная, туманная осень. Он ехал с последней слободской ярмарки, где закупил на спекуляцию, на зимовлю, десятка два пар волов домой. Я тоже ехал домой. «Поедьте ко мне! — сказал он: — я тут от станции живу всего верстах в сорока! Поедьте; у нас места отличные, и главное, в нашем околотке послезавтра устраивается охота в наездку...» Я поехал. Небольшой хуторок носил на себе отпечаток хозяина. Но меня это не занимало. Я ждал охоты..»

Охота была в серый пасмурный день.

На спокойных конях, разбившись друг от друга на четверть версты и выровнявшись в ряд, мы ехали шагом по необозримой, гладкой степи. Изредка срывавшийся мелкий дождь моросил в лицо. Рыжий, истрепленный ветром, бурьян, репейник и длинный коворьяк, нетронутый в лето стадами, шел полосами то там, то здесь. Пустынные овраги и

громадные логи, котловины, особенно осматривались наездниками. Борзые, разбитые на своры, шли у коней доезжачих. Вырвался из-под ног и покатился клубком заяц; нырнул в траву и выхватился на косогор красно-бурый лисовин, самец-лисица; пошел в ход громадными скачками, несясь легче ветра, вдоль пустынного байрака, волк. Ездоки сваливаются вдогонку, собаки летят стрелой, летят версту, другую. Барсучьи кочки, котловины, кусты мелкой «дерезы», вишневые дикие заросли, гладь и гладь без конца — все это несется в глаза, мелькает мимо. Вот новый горизонт. Перевалились через кряж холмов. Затравлено много русаков, две лисицы; волк убежал. И напрасно за ним скачут неутомимые охотники. Вот уже из тридцати человек летят два, один. Семеро борзых особенно рьяны. Близок дубовый лесок. Волк ввалился туда. Трубят отбой. И опять, после общего перевала, начинается наездка. Конь едва переступает. Измокшая «стерна», жнивье прошлого лета, чуть шелестит под копытом. Вот одинокий степной колодец. Две тощих вороны сидят и мокнут на его журавле. Не вставайте и не загля-

дывайте в колодец. На вас не пахнёт отрадою, как в знойное лето, когда вы порывались выпить его воды. Далее... Вот брошенный, измокший в траве ремень, о пряжку. Что это? Путо ли для лошадиной ноги, сорвавшееся в лето, пояс ли пустынного пастуха, чабана? Дождь зачастил, а там вдруг прояснело. Новая тревога. Опять волк. На этот раз меня удивляет доезжачий Щербеки. Махнув нагайкой, он несется один, без собак, в угон за волком, гонит его версту, две, три, томит его, нагоняет, вновь поднимает когда тот падает, высунув язык, и, наконец, свалившись с коня, в одиночку перевязывает его морду петлею ремнем, а потом и ноги. Опять сбор; завтрак, обед. Развязываются кошелки, тюки. Являются ростбифы, вина, водки. Кормят собак. А картина у ног, с высокого косогора, открывается новая. Солнце робкими, но яркими лучами обливает холмистую, голубоватую даль, кое-где перерезанную пахотями будущих посевов, а внизу — реку, в иссохших камышах, с болотами и озерами... Поздний вечер гонит всех на перевал к корчме. Тут ожидают нас гончие. Но с ними завтра...

На другой день — новый распорядок охоты. Верховые становятся вдоль реки, по косогорам; близ них, на сворах, борзые. Гончих ведут в камыши и на болота. И заливаются желто-пегие плаксы, и напрасно юлит и обманывает их вертлявая, как вьюн, новолетняя лисица. Вот-вот она вырвется из камышевого острова, пойдет в гору, к борзятникам. У борзых ушки на макушке, и тихо, плотоядно облизываются они, порываясь вперед и вперья вниз, под гору, зоркие глаза. Охота идет вниз по реке, делая перевалы на пяти, на семи верстах в приречных хуторах. Едят, пьют и лгут во всем простодушии коренных охотников, как оно и следует...

Но зима на волоске. Просыпаемся утром: поля покрыты густым, белым пологом пушистого снега.

- Пороша!

Но кто же не знает пороши? Кто не знает, как выслеживается крапчатый, в скачках, след зайца, след шагом, след «пудом»[45], бегом, его узлы назад, вперед, в бок и обратно в бок; тихий и лукавый след лисицы, след, которому нет конца?.. Едешь версту, две, пять,

пятнадцать — и не поднимешь ее: она водит и водит, путает и сбивает. А вот два волчьих широколапых следа! И ездят опять охотники в наездку. Снег белеет и ослепляет глаза. И бесконечно-бесконечно расстилаются кругом, сливаясь с синими небесами, степи, степи гладкин, как стол, улоговатые[46], исполосованные оврагами или оттененные изредка деревьями, от снега, будто вылитыми из серебра.

Осенью на хуторе, соседнем с Щербекой, было одно грустное событие. Любимый егерь помещика, Павло Дзюба, выехал с гончими в сосновую рощу, на песках. Лучшая из своры гончих, Трубка, вскочила за лисицей в нору. «Пане, а я пойду, отрою из норы собаку и лисицу. Нора на обрыве, в песке!» — «Эй, Павло, не ходи! Пусть гибнет и собака, и лисица, лишь бы ты остался цел и жив!» — «О, пане, будто я дурной; у меня четверо детей и жена!» — Ну, иди!» — Пошел Павло, чистая и первобытная душа, бескорыстнейший и страстный охотник, взял лошадь, заступ, хлеба и поехал вечером в лес. Говорят, лесничий, обходя дозором лес, нашел его у норы и советовал ту-

да не лазать. «Слухай, — ответил Павло: — я тебя люблю, а ты штука! Иди своею дорогой» Дал ему покурить своей трубки и принялся рыть песок. Прошла ночь. Лесничий опять поехал дозором. Видит, лошадь одна стоит, голодная, у куста. Подошел к норе: оттуда торчат ноги Дзюбы. Потянул — не вытянет. Дал знать; прибежали из села и вытянули Павла вожжами из норы. Бедняк задохся... Он прорыл ход, полез туда в полушубке; полушубок завернулся долами и уж не дал ему хода ни назад, стесняя его складками, ни вперед, где лисья нора снова суживалась. Погибли, задохнулись и Павло, и лисица и собака... Мир праху твоему, веселая и беззаботная душа, кузнец, ключник, слесарь, комиссионер, а главное — замечательный охотник своего родного села, исходивший столько болот, объездивший столько степей и воцаривший, с своим владельцем, столько любви к охоте в своем околотке...

Но прошла осень и зима. Опять весна на дворе. Летят гуси, лебеди, дрозды, вальдшнепы и бекасы. Снимается со стены давно осмотренный и вычищенный мортимер, де-

лаются патроны, ласкается особенно нежно красивый пойнтер или сеттер, и подтягиваются новым ремнем непромокаемые охотничьи сапоги... Золотое время... Пора безвозвратно-улетевшей молодости, всяких упований и надежд!

1860 г.

Примечания

1

Нимрод- библейский персонаж

[^^^]

самец лисицы

[^^^]

3

обер-полицмейстер Москвы

[^^^]

4

польская «огары» или венгерская «агары» порода охотничьих собак

[^^^]

5

способные к быстрому гону

[^^^]

6

крымка, степная — породы собак

[^^^]

7

лугам

[^^^]

ц.сл. «почему»

[^^^]

кремневое ружье английской фирмы «Mortimer and Son» (существовала с середины XVIII века по 1927 год), отличались очень высоким качеством

[^^^]

10

от слова «банкет» в старом варианте

[^^^]

местное название ласки

[^^^]

бахчевые культуры: арбузы, тыквы, огурцы и т.п.

[^^^]

Днепропетровск

[^^^]

из хлопка, пожароопасные

[^^^]

вырезанные из шкуры с мехом

[^^^]

род саней

[^^^]

обрыву

[^^^]

пойменные

[^^^]

черный тополь

[^^^]

The Pathfinder — Следопыт

[^^^]

шмуклер — с нем. - мастер по позументу, бахроме и т.п.

[^^^]

под этим псевдонимом Г.Данилевский публиковал свои очерки в конце 50-х, начале 60-х годов

[^^^]

рыболовная ловушка

[^^^]

пшеничный хлеб

[^^^]

от слова «букать» - гудеть, мычать

[^^^]

харвар — из перс. тюк зерна, мера веса в 25-30 пудов

[^^^]

половодъе

[^^^]

КАМЫШОВКА

[^^^]

варакушка

[^^^]

Парголово и Мурино — северные пригороды
С.-Петербурга

[^^^]

род болотного растения

[^^^]

озера в Италии

[^^^]

пастбищами

[^^^]

мельница

[^^^]

29 июня по юлианскому календарю

[^^^]

ведаю

[^^^]

кузнец

[^^^]

тонкий тес, доска не толще 1 см.

[^^^]

сазаны

[^^^]

порода овец (по названию страны происхождения - Испании)

[^^^]

ПОЛДНИК

[^^^]

привалы

[^^^]

южно-русск. пугать

[^^^]

южно-русск. косматое, мохнатое

[^^^]

при кормежке, мелкие короткие шажки

[^^^]

от слова «улог» - сильное утомление

[^^^]